

Писатель и время

БЕЛ КАУФМАН

И ВНОВЬ ВВЕРХ ПО ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ ЛЕСТНИЦЕ

Жизнь наступает литературе на пятки. Со страниц своей собственной книги я сошла на землю, выглядевшую до странности знакомой, но превратившуюся теперь во вражеский стан, — я возвратилась в мир нью-йоркских средних школ.

Поначалу я представляла себе свою задачу достаточно легкой. Себя я видела воплощенной Сильвией Баррет (правда, несколько постарше) — героиней «Вверх по ведущей вниз лестнице», которая, преодолев громадные трудности и проявив чувство юмора и душевный такт, сумела найти путь к сердцам своих учеников. Вот уже в течение шести лет я являюсь в глазах общественности Сильвией Баррет. Учительницы отождествляют себя с нею, дети пишут ей письма, я даже получила письмо, адресованное просто «Сильвии Баррет. Учительнице».

Итак, она... точнее я, стала давать уроки в двух специализированных школах, где меня лично знали и радушно приняли: мое пальто висело в кабинете директора, завтракала я за особым столом, среди учителей были мои друзья со студенческой скамьи. Хотя я просила не

говорить школьникам о том, кто я, слух быстро распространился:

«Правда, это вы написали ту книгу?»

«А нас вы опишете в книжке?»

«Надпишите, пожалуйста, мою алгебру».

Одна девочка привела свою подружку: стоя в дверях, она застенчиво указала ей на меня: «Это она». А кто-то даже положил мне на стол яблоко.

Но все это было «не то». Я и сама видела, что это «не то». Ведь я имела в виду совсем другое — преподавать в обычной средней школе Нью-Йорка, предпочтительно инкогнито. Может, надеть парик? Темные очки? Мне пришла в голову мысль получше: я позвонила в Управление по делам образования и установила, что давным-давно выданное мне удостоверение, дающее право работать замещающей учительницей, все еще действительно; кроме того, в нем проставлена прежняя моя фамилия, которая большинству людей ничего не говорит.

Я тут же записалась в качестве замещающей учительницы миссис Дж. у секретарей восьми школ, где я преподавала в прошлом, но где меня вряд ли узнали бы. Регистрационный номер, предмет, телефон. Явлюсь по первому вызову.

Теперь я вставала по утрам в 6 ч. 30 м., чтобы к 7 часам быть готовой отправиться на работу по звонку-вызову из любой школы, которой я понадоблюсь сегодня, чтобы провести урок по тем или иным предметам. Однажды меня вызвали для проведения урока физкультуры. «Ничего страшного, — заверила меня секретарь. — Дуйте в судейский свисток да отмечайте отсутствующих — и все дела». В течение четырех месяцев я попеременно была учительницей английского, биологии, испанского, французского, естествознания, а один

тяжелый день даже преподавала счетоводство и бухгалтерию.

Мое пальто больше не висело в директорских кабинетах; завтрак больше не сервировался мне за особым столом. «Так как вы пришли рано, мы попросим вас дать еще один урок...» «Будьте добры, раздайте эти конверты учителям на всех этажах...» Пять уроков, внеклассные занятия, подготовка к урокам, домашние задания. Я совсем забыла, какой это выматывающий труд — преподавать.

Преподавать? Что преподавать? Где преподавать? Я была счастлива, если в три выбиралась из школы цела и невредима.

Когда в январе 1965 года вышла в свет моя книга «Вверх по ведущей вниз лестнице»¹, она произвела на многих впечатление разорвавшейся бомбы. «По сравнению с сегодняшней нашей школой, — сказал мне недавно один учитель, — ваша книга изображала прямотаки утопию». Не совсем так, конечно: предупреждения там содержались. Всего лишь предзнаменования — комочек жеваной бумаги, брошенный из-за озорства, но еще не бунтарское потрясение основ; тлеющее недовольство, но еще не буйный мятеж. Тогда все еще можно было смотреть на них с юмором. Но теперь в тоне, в чувствах, во взглядах и взаимоотношениях учеников и учителей произошла такая пугающая перемена, что я чуть ли не с благодарностью воспринимала нелепости, сохранившиеся с прежних времен.

Вот некоторые мои торопливые записи:

Объявление у часов-табеля гласит: «Леди и джентльмены! Часы пробивают дырки не на том месте. Просьба все равно отбивать время».

В почтовом ящике нет ключей. Может, их снова унесла домой учительница, которую я замещаю? Нет, оказывается, в воскресенье во время школьных танцев произошла кража: были похищены ключи из всех почтовых ящиков.

В почтовом ящике, впрочем, полно непохищенных указаний. Например: «Раздайте всем учащимся, в том числе отсутствующим».

Ненормальное расписание звонков с уроков и на уроки является нормой. Как и всегда, указывается какое-то странное время: 8 ч. 03 м. — 8 ч. 46 м. и так далее. Какой это урок? Когда он кончается? Никто не знает.

Если раньше о начале и окончании урока оповещал звонок, то теперь вместо него мрачно верещит электрическая сирена, словно это невидимая сова ухает где-то в темных закоулках школы.

Все тот же школьный запах. Все то же серое однообразие. Все те же выщербленные парты.

¹ В русском переводе повесть напечатана в «Иностранной литературе» № 6 за 1967 г.

Есть и кое-что новое. Полицейские в вестибюле. Доска «Черного бюллетеня». Объявление для родителей, переведенное на испанский. Программа борьбы с наркотиками. Новые темы: «Африканская поэзия». Школьница держит в руке брошюрку: «Что делать, когда вас арестуют». Я прошу дать мне ее почитать — девушка отвечает, что книжка ей нужна самой.

Классная доска, на которой нарисованы мелом обычные пред рождественские гирлянды, но надписи уже совсем другие. Вместо «Мир на земле» — «Полиция на земле». «В этом году дед-мороз — черный».

Сбоку кто-то нацарапал: «Сохраняйте красоту Америки! Не забывайте чистить зубы!» Внезапной болью пронизывает мысль: «Но ведь они же дети».

Моя персона вызывает у них стереотипную реакцию: «Она не пришла?» Бывает, они лишь заглянут в дверь: «Ее нет?» — и исчезают.

Учителя встречают меня равнодушной шуткой: «Кто вы сегодня?» «Мистер Росс, — отвечаю я, — разве не видите?»

Действительно, кто же я? Как на испорченной любительской фотографии, где отпечатались друг на друге несколько снимков, я совмещаю в одном лице несколько людей: я одновременно являюсь Бел Кауфман, писательницей и т. д., миссис Дж., скромной замещающей учительницей; Сильвией Баррет — моим вторым «я». Я — это учительница, которую я в настоящий момент замещаю; и учительница, которой я была много лет назад; и учительница, которой я стала теперь. По-моему, во мне даже осталось что-то от ученицы средней школы в Нью-арке, штат Нью-Джерси.

В воскресенье Бел Кауфман выступает с речью перед большой аудиторией педагогов из других городов; в понедельник миссис Дж. стоит перед классом враждебных и презрительных подростков, тщетно упрашивая их уделить ей несколько минут внимания. Конечно, мне легче от сознания, что я в любой момент могу... Я хочу сказать, что мне не так тяжело, как если бы... Ведь на самом-то деле я не обязана...

А каково приходится одиннадцати тысячам настоящих замещающих учителей в одном только Нью-Йорке, которые обязаны идти по вызову и в дождь, и в снег, и в темень зимнего утра. Как приходилось и мне когда-то.

Правда, тогда все было много легче. За последние восемь лет, в течение которых я, оторвавшись от школьной действительности, преподавала в колледже да выступала с речами на съездах учителей, в школах произошли разительные перемены. Дети, которые оспаривали друг у друга право выполнить поручение учителя и огорчались из-за полученной плохой отметки, перевелись. Я на собственном опыте убедилась, что теперь я больше не могу попросить ученика сте-

реть с доски. В первый же раз, когда я обратилась к школьнику с такой просьбой, он с удивлением обернулся к классу: «Чего это она, шутит?»

Как я обнаружила, ученики придают большое значение своим пальто. Они не желают с ними расставаться ни при каких обстоятельствах. Исключение составляют лишь те школы, где верхнюю одежду в обязательном порядке запирают в гардеробах до окончания учебного дня. Девочки, прижавшись друг к другу, сидят в пальто даже в самых жарких классных комнатах — может, для того, чтобы как-то отгородиться, уединиться, а скорее всего — чтобы быть готовыми в любой момент сбежать с занятий.

В прошлом на стенах школьных столовых висели объявления: «Разговоры запрещаются», а в комнате для внеклассных занятий соблюдалось требование «абсолютной тишины».

Шум в этой, сегодняшней, внеклассной комнате стоит такой, что хоть уши затыкай. Ученики орут, швыряются друг в друга через всю комнату книжками комиксов, списывают друг у друга домашние задания. Вдруг весь этот гвалт перекрывает голос из громкоговорителя: «Даю клятву верности...» Ну, конечно, освященная временем церемония салюта флагу. Но что это? Встает один-единственный ученик; он поворачивается лицом к грустно поникшему флажку на стене и, приложив руку к сердцу, повторяет слова «клятвы верности» поет первую строфу государственного гимна — «Звездного знамени» и садится.

«А дальше?» — спрашиваю я.

«Дальше не обязательно, — объясняют мне ученики. — Если кто хочет, может, конечно, и дальше, но это было бы фальшиво. Ведь нету же никакой свободы и справедливости для всех».

Как мне кажется, переменились также и учителя. Некоторые из моих старых друзей, когда-то вкладывавшие всю душу в своих учеников, стали осторожничать. Они избегают столкновений, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат. Даже в тех школах, где не царит дух насилия, я ощущаю какое-то уныние — следствие перенесенной боли, результат забастовок, борьбы с позиций силы, поляризации. «Мы расплачиваемся за все, что происходило раньше», — сказала мне одна старая учительница. Другая учительница с тоской о прошлом вспоминала свое собственное детство, когда школа служила убежищем от грязи и низости внешнего мира. «Теперь же внешний мир привнесли внутрь школы».

Тосковать о прошлом есть все основания, ибо минули те дни, когда школьные преступления именовались «нарушениями дисциплины» и сводились к опозданиям, жеванию резинки на уроках, курению сигарет в уборной, «эпидемии воровства мела» и беготне по лестницам в неправильном направлении.

Сегодня газеты пишут о случаях ограбления с угрозой удушить жертву, хулиганской порчи имущества, вооруженного грабежа, физической расправы и изнасилования, причем все это творят не закоренелые преступники, а наши же дети, в наших школах.

Да, внешний мир привнесен-таки в школу. В том числе и наркотики.

Мои записи кратки: «Занятие, посвященное наркотикам. Сотня ребят собралась в музыкальной комнате послушать трех молодых людей, бывших наркоманов. Никакого морализирования, лишь наглядное описание: тюрьма, металлические койки. «Вас заставляют раздеваться, показывать нижнее белье». — «Новичков тоже сажают?» Похоже, кого-то проняло.

Время от времени среди преподавателей постарше мелькнет смутно знакомое лицо. Новых учителей можно принять за учеников: молодые люди в джинсах из грубой бумажной ткани и кедах; девушки с длинными прямыми волосами. Ребятам это нравится; они хотят, чтобы их учили молодые преподаватели, «приобщившиеся ко всему этому». А черные дети хотят учиться только у черных учителей. «Какая мне радость глядеть на белую физиономию?»

«Завтра будет еще хуже», — заверяют меня ученики. Они только что подожгли мусорные баки в школьной столовой. И на доске красуется надпись: «Конец мира — сегодня, ровно в 5.30».

Интересно, что пишут они на классных досках в других школах, в других городах? Разумеется, я не могу обобщать: я делюсь моими личными впечатлениями, почерпнутыми в максимально трудных условиях, — на должности поденной замещающей учительницы. Даже сравнение с Сильвией Баррет не вполне справедливо: как-никак она вела своих учеников в течение целого учебного года. Я же веду их в течение каких-то сорока двух минут.

Стремясь узнать их получше, я в начале каждого урока с новым классом прошу учеников написать что-нибудь о себе: «Что значит сегодня быть молодым и учиться в средней школе» или «Каким (какой) я себя ощущаю». Их сочинения трогают меня до глубины души.

«Дорогая, как Вас там зовут, едва ли найдешь хоть одного человека, не зараженного предрассудками. Спасибо, что пришли».

«Мы молоды, но, по-моему, мы старше большинства людей».

«Не следует поджигать чужой дом потому, что он красивее вашего. И еще я чувствую, что раз моя мамаша не сделала аборт, когда была беременна мною, то и я тоже не должна делать аборт и убивать моего ребенка».

Б Е Л К А У Ф М А Н
И В Н О В Ъ В В Е Р Х П О В Е Д У Щ Е Й В Н И З
Л Е С Т Н И Ц Е

«Быть молодым не так уж плохо. Во всяком случае, есть что делать».

В прежние времена в любой школе, даже самой «трудной», царила атмосфера работы, успешно осуществляемого учебного процесса. Несмотря на скуку, непроизводительную трату времени и неумелость, учеба продолжалась. В занимаемом вами положении была определенность. Учителя были тогда переутомлены, но отнюдь не запуганы. Администрации была свойственна напыщенность, но никак уж не паранойя. Дети были «сорванцами», но далеко не преступниками. Их проблемы были сугубо юношескими: прыщик, вскочивший на лбу; свидание, назначенное на субботний вечер; строгие родители; слишком много домашних заданий. Но сегодня все, что было таким ясным и определенным в ту пору, когда нам было столько же лет, сколько им, и имело такие же четкие границы, как коричнево-синяя географическая карта над доской (вы знали, что она всегда там, даже когда свернута), — все это ушло в прошлое. Как это, должно быть, страшит их!

«Мне всегда хотелось быть не собой, а кем-нибудь еще».

«Я видела смерть многих моих близких, жила вместе с умственно отсталым ребенком и научилась справляться с жизнью. Хотелось бы познакомиться с Вами поближе».

«С какой стати буду я мучиться, пытаюсь изучить предмет, который мне не понадобится в будущем? Я хожу в школу не для того, чтобы свихнуться на какой-нибудь геометрии или испанской цивилизации».

«Может, если я попрошу у господи помощи в моих делах, он решит помочь мне».

«Мои родители разошлись. Пусть всегда будут мир и любовь».

Иной раз мне случается два дня подряд преподавать в одних и тех же классах. И уже возникает чувство продолжающегося общения: я узнаю их, они — меня. Я сообщаю им, что прочла их сочинения; я говорю об их одиночестве и смятении, о том, как трудно сегодня быть молодым. Класс, который накануне встретил меня в штыхы, примолк и внимательно слушает. Что-то я в них разбредила. «В самую точку», — говорит один ученик.

Не так давно Сильвия Баррет хотела, чтобы они ее полюбили, все до одного. Ей казалось, что она слышит их немую мольбу: «И вы нас любите!»

«Вся беда школы в том, — просвещает меня ученик, — что учителя позволяют нам как угодно издеваться над ними. Есть тут одна учительница — мальчишка обругал ее, а она даже не распекала его!»

«Они реагируют только на гнев, — говорит учитель, — потому что тогда они понимают, что ваше чувство искренне».

Изводить замещающего — традицион-

ная забава. Мне говорят, что я попала не в тот класс, перепутала уроки; вызванные отвечать называют не свою фамилию; ученики пересаживаются с места на место, вбегают в классную комнату и выбегают из нее — все это типично детские шалости. Но эта подспудная ярость, готовая вырваться наружу от одного резкого слова, эти внезапные вспышки ненависти и презрения суть сугубо взрослые чувства.

«Меня пытались соединить с белыми, да ничего из этого не вышло», — пишет чернокожий ребенок в моей повести. Но подлинный ученик в подлинной школе 1971 года пишет: «Когда придет революция, белых фашистских свиней поставят на одну доску с Томами и Орео».

Выступая перед учителями, я говорила: «Проблемы дисциплины не существует вовсе — есть лишь ребенок, которому скучно, которого приучили считать себя неспособным».

Я говорила им: «Мы, родители и учителя, достигли больших успехов в воспитании, чем сами это сознавали, потому что мы дали нашим детям мужество задавать вопросы, свободу совершать поступки».

Я говорила: «Нет таких детей, с которыми нельзя было бы установить контакт, — есть лишь учителя, которых ничему нельзя научить».

И еще я говорила: «Каждый раз, когда учитель входит в класс, перед ним открываются возможности быть великим».

Очень легко потерять присутствие духа, деморализоваться. Ловлю себя на попытке выторговать немного внимания в обмен на что-то свое, личное, сыграть на своей собственной слабости. Рассказываю ученикам о том, как мне пришлось учиться английскому в двенадцать лет, сидя в одном классе с шестилетними.

«А сейчас вы говорите по-английски?»

«Вы что — еврейка?»

Измученная, как боксер в конце раунда, с нетерпением ожидая, когда зазвонит звонок, заухает сова, я спрашиваю себя: «Каким образом стала я их врагом? Когда, в какой час, в какой день?»

«Присматривайте за своей записной книжкой! — орет одна школьница. — У меня не все дома!»

«Эй, дайте-ка мне вашу ручку, — вопит у меня над ухом другая. — Почему вы, черт возьми, не отвечаете мне?»

Я взрываюсь и кричу. Класс отвечает гулом голосов — что-то среднее между одобрительными и неодобрительными возгласами. Наконец-то они задела меня за живое. А мне задеть их за живое не удалось.

Можно обуздать насилие, можно пресечь истерию, но как побороть апатию? Я веду программу школьного труда. Эти девочки полны апатии. Я спрашиваю их, что бы они хотели делать; я предлагаю им на выбор и то, и это. Нет, они лучше

посидят здесь до конца урока. «Может, у вас журнальчик найдется?»

«Не думаю, чтобы вы могли по-настоящему понять мою проблему или проблему моего народа, потому что вы белая, и мы живем в двух разных обществах».

«Мне трудно жить в нашем нынешнем мире: не знаешь, кому верить и что делать».

«Если бы президент курил опиум, в мире жилось бы куда лучше».

«Мы — отпетые, нам сам черт не брат», — хвастают они. И все-таки даже в худшем классе я обычно встречаю хотя бы одну пару глаз, устремленных на меня с глубоким вниманием. Алчущих знаний.

Каждый день я приношу все новые их сочинения. Они жалуются на «крайне нездоровую» пищу в школьных столовых, на школы-«тюрьмы», на своих учителей — «диктаторов, самодержцев, лицемеров и промывателей мозгов». Они беспокоятся по поводу добрачной половой жизни. Их тревожит перспектива безработицы по окончании школы. Они превратно истолковывают демократию: «Мы можем делать все, что захотим». Они жаждут ясности и мира. И у них такое чувство, что им отпущено очень мало времени. Те, кто ощущает себя счастливым, как бы оправдываются: «Наверное, я какой-нибудь псих или чокнутый, но я люблю школу».

Мы редко сознаем, к чьей душе мы нашли путь, как и почему это удастся.

Трудный класс в грудной школе. Я начинаю урок с проверки посещаемости — администрация настаивает на немедленном представлении списка отсутствующих. Рослый черный парень в желтой вязаной шапочке стоит посреди класса спиной ко мне. Я прошу его сесть. Он — ноль внимания.

«Я не вижу за вами класс», — говорю я.

«Смотрите сбоку».

В этом гомоне трудно выкликать их фамилии. Вот чешская фамилия, которую носит один из немногих белых мальчиков в этом классе.

«Как правильно произносится ваша фамилия?» — спрашиваю я его.

Он угрюмо пожимает плечами. «Все равно никто не может выговорить».

«Попробую я. Так—?» — и я называю его фамилию.

Он с изумлением смотрит на меня. «Откуда вы знаете?»

«Я росла в России. Произношение очень похожее».

«Вы — русская?» Возгласы с мест: «Э, так вы по-русски говорите?» Это их внезапно заинтересовало. «Скажите что-нибудь по-русски!» Я говорю. Уважительное внимание; они — со мной.

В конце урока парень в желтой шапочке подходит ко мне с листком бумаги, вырванным из блокнота.

«Напишите-ка что-нибудь по-русски», — командует он.

Я пишу на листке русское слово.

«А как это произнести?»

«Хорошо». Это значит «good».

Довольный, он кивает. Шевеля губами, направляется к двери. Бумажку держит в руке, как талисман. У двери он обертывается, какое-то мгновение колеблется, подыскивая точные слова для выражения — вот только чего? Извинений? Чувства восхищения? Он выражает максимум того, на что он способен: «Счастливы вам!»

А вот школа, оставшаяся точь-в-точь такой же, какой я ее знала, — специализированная средняя школа для одаренных подростков, которые должны сдавать вступительный экзамен. Большинство учеников белые. Порядок, серьезная целеустремленность, интерес к экзаменам, колледжу, политике, искусству.

«Терпеть не могу школьных радикалов, которые все время затевают беспорядки. Я не предубежден; я — правый».

Один ребенок из «Вверх по ведущей вниз лестнице», пишет: «Можно ли по моему почерку определить, белый я или нет?» Сегодня я перефразировала бы эти слова: «Можно ли по моему письму и чтению определить, белый я или нет?» И как это ни прискорбно, придется ответить: «Да». Мы гораздо лучше относимся к нашим «способным» ребятам. Неизменное школьное уравнение имеет такой вид:

Белые=хорошие ученики

Черные=плохие ученики

Что и требовалось доказать

Их соответственные места в этом уравнении определены еще с детского сада.

Теперь я в одной из самых худших школ в городе. Даже замещающие не хотят идти туда; секретарь умоляет по телефону: «Очень прошу! Вы нужны нам!» Многие постоянные учителя отсутствуют — ничего удивительного. Бандитизм в зале, наркотики на лестницах, хулиганство, вымогательство, избиения. В нарушение правил пожарной безопасности учителя ведут уроки за закрытыми дверями, чтобы оградить учеников от шатающихся по коридорам орав: на днях такая шайка, ворвавшись в класс, где шли занятия, выволокла из класса одного из учеников и жестоко избила его в зале.

Мне предстоит преподавать естествознание. Мне вручают два отпечатанных синими буквами плана урока, которые я должна взять за образец: «Научный метод — гипотеза, дедукция».

Иду в класс. Ученики набрасываются на меня, выкрикивая непристойности и размахивая большой фотографией обнаженной женщины из центрального раз-

Б Е Л К А У Ф М А Н

И В Н О В Ъ В В Е Р Х П О В Е Д У Щ Е Й В Н И З
Л Е С Т Н И Ц Е

ворота «Плейбоя». Они уверяют меня, что проходят по естествознанию половые отношения. «Эй, училка, что это такое?»

Я сохраняю хладнокровие; мы здесь все взрослые. «Уберите эти картинки».

С научным методом покончено, но они так и не оставляют меня в покое все сорок нескончаемых минут, покуда меня не освобождает крик совы.

В следующем классе я действую умнее. Сообразив, что главное — это правильно рассчитать время, я выжидаю на лестничной площадке, пока они зайдут в класс. И тут я стремительно вхожу, быстро-быстро произнося по-русски первое, что приходит мне в голову: «Я не понимаю — не понимаю, почему здесь стоит такой шум и гам, прошу садиться, вышел зайчик погулять». Они ошеломленно смолкают. Я пользуюсь минутным замешательством: «Как вы думаете, почему я, входя, говорила по-русски?» — «Чтобы привлечь наше внимание». — «Совершенно верно. Ловко это я придумала? Погодите, может быть, я сумею вас заинтересовать. Дайте мне только возможность — ну, скажем, пять минут внимания?» По рукам!

В этой же самой школе я увидела девочку — не старше пятнадцати, — очень черную, очень беременную, которая весело прогуливалась по залу, посасывая леденец. Я спросила у секретарши, приносят ли они своих младенцев в школу. «Бывает, — ответила она, — вон эта девочка, никудышное, испорченное до мозга костей существо, принесла однажды в школу своего ребенка и знаете, как она смотрела на него? Вы бы не поверили, что это все та же девочка».

Верю. Ведь в тот момент у нее, наверное, было такое выражение лица, какого ни один белый учитель никогда не видел в классе.

«Мы убиваем себя. Ничего не можем поделать с собой. И так уже поздно — не будем больше терять время. Все мы погибаем».

«Нам постоянно твердят: «Подождите до трех часов, подождите до июня». Но ведь Перемены совершаются Сейчас!»

Власть предрержающие предлагают многочисленные перемены. Речь здесь идет о том, что нужно побольше денег, побольше полицейских, побольше специа-

лизированных школ, поменьше специализированных школ, использование школьных автобусов, упразднение школьных автобусов, укрупнение, разукрупнение.

«А вот вы сами, как бы вы изменили школы?» — спрашиваю я учеников.

«Сожгли бы их».

Может, они правы. Может, нам следует начать на голом месте.

Должны ли все дети посещать школу под страхом уголовного наказания? Сидеть в классной комнате? зубрить школьную премудрость? По-моему, для нынешнего поколения рассерженных городских детей наши традиционные школы стали анахронизмом.

Да, мы должны начать с самого начала: позаботиться о будущем черного младенца в грязной трущобе, по одеялу которого снуют крысы.

Ну, а как же быть пока? Осталось ли что-нибудь, на что можно было бы опереться? («Счастливы вам», — сказал мне один школьник.)

Русский врач, мой хороший знакомый, выслушивая своих пациентов стетоскопом, приговаривал в первое время по приезде в Америку: «Вдыхайте — выдыхайте»¹. Быть может, нам оставлены лишь две эти альтернативы. Быть может, единственная наша награда — установить личный душевный контакт с одним ребенком.

Не знаю, не знаю. Сильвии Баррет казалось, что она знает. «Любовь так же сильна, как ненависть», — утверждала она, но я обнаружила одну только ненависть.

То, что я пишу здесь, — это не обычная журнальная статья. Это мое прощание с Сильвией Баррет, которую я создала в лучшие дни.

«Я хотела облагородить души, — говорила она, — заставить работать их ум, научить любить книги и открыть им дорогу в большой мир. Стать богиней?..»

Богиня, богиня, лети скорей домой,
Твой домик пылает и детки все сгорят.

¹ Слова "inspire—expire", которые врачами в упомянутом здесь смысле не применяются, имеют сопутствующий смысл: «вдохните — скончайтесь».

Перевод с английского
В. ВОРОНИНА

Школьные джунгли, или Воспитание воспитателя

О известная американская писательница Бел Кауфман проделала примечательный опыт. Только слово «опыт», пожалуй, не вполне в этом случае годится, как нечто обязанное головному, холодному наблюдению. Бел Кауфман произвела опыт над своим прошлым, над своей книгой, над своим любимым делом, а значит, над самой собою, и опыт этот был нагляден, но болезнен и разрушителен, как нервный спазм.

В середине 60-х годов Бел Кауфман получила известность повестью об американской школе «Вверх по ведущей вниз лестнице». Повесть стала популярна среди учи-

телей и школьников в Америке, по ней был снят фильм. И вот, спустя восемь лет, писательница решила снова вернуться в класс на правах скромной замещающей учительницы, чтобы обновить былые впечатления и своими глазами увидеть перемены, какие здесь произошли.

Перед нами редкий случай, когда книга, родившаяся в водовороте жизни, возвращается в нее, ею проверяется и опровергается. Когда герой повествования продолжает жить как реальное лицо в прежнем своем амплуа и наново передумывает свое отношение к делу, которым он занят.

Героиня книги Бел Кауфман — молоденькая, голубоглазая, стройная Сильвия Баррет уже одной своей внешностью — вызов типу учителя-педанта, формалиста и сухаря, какой-нибудь старой девы в темной юбке, сухопарой и черствой. Недаром этот образ так привлек сердца тысяч американских школьников и школьниц: ее черты мечтали узнать в своих учителях, ей желали подражать. Мягкость, простота, юмор, женственность героини Бел Кауфман делали ее враждебной воздуху казенщины, показной дисциплины, как бы символизированной в бумагах и указаниях Нач. Адм. О. С. Дж. Макхаби.

В Сильвии Баррет школьники увидели не столько наставника, сколько хорошего, живого человека, а так как она к тому же была немногим старше своих воспитанников, ее отношения с ребятами оказались сильно облегчены. Читатели повести помнят, как она столкнулась вначале с недоверием класса и как победила его. Конечно, и ее встречали на первых уроках обескураживающими возгласами «Привет, училка!», конечно, и ее пытались «доводить», как и других учителей. Ей надо было пережить озорные выходки, знакомые поколениям школяров, мальчишескую иронию, самолюбивую агрессивность и замкнутость, за которыми прячутся болезненная ранимость, уязвимость подростка.

Но было нечто, что соединяло молодую учительницу, школьную «Одри Хепберн», с ее воспитанниками. Ей, как и им, были противны административные восторги Макхаби, циркуляры, регулирующие все отношения учителей и учеников, власть буквы и формы, заменившей живой интерес и сознательную дисциплину. Сильвия Баррет сумела наладить контакт со своими воспитанниками, потому что была добра к ним, хотела их понять и, презирая методические каноны, передавала им знания как что-то существенное, искреннее, относящееся к их жизни. Не зря в одном из наиболее замкнутых и трудных подростков — Фероне — она обнаружила то же чувство внутреннего протеста, которое жило в ней.

В сознании читателя Сильвия Баррет очень близка автору, хотя было бы, пожалуй, напрасным преувеличивать степень этой близости. Остановимся на предположении, что Сильвия Баррет — идеализированный автопортрет.

Тем интереснее узнать, что Бел Кауфман оставила спокойную, удобную жизнь писательницы, получившей, благодаря своей первой книге, репутацию педагога-новатора, и решила снова «пойти в люди». На этот раз, потрясенная тем, что она увидела в «школьных джунглях», она написала и напечатала в журнале «Макколс» очерк, лишенный всяких украшений беллетристики, фокусов композиции и даже спасительного грима Сильвии Баррет. Просто громко, на весь свет закричала о том, что ее удивило и ужаснуло.

Ее новые наблюдения над жизнью школы много безотраднее, чем прежние. Испытанные приемы обуздания класса и возбуждения интереса в детях, которыми она так охотно делилась на учительских съездах и конференциях, перестали действовать. Непроходимая стена выросла между учительницей и детьми. У Бел Кауфман пропал даже ее спасительный юмор. Школьники кажутся ей теперь «вражеским станом». «Глеющее недовольство», ощущавшееся и прежде в школе, переросло в «буйный мятеж». Ученики откровенно бездельничают, сквернословят, ёрничают, ходят, что называется, на головах, не хотят ничего знать и, главное, ведут неустанную, тайную и явную, войну со своими педагогами. Взаимная вражда дошла до такого градуса, ненависть в школе въелась так глубоко в плоть ее питомцев, что весь миротворческий опыт и гуманные намерения Бел Кауфман, Сильвии Баррет тож, оказываются напрасными.

Чтобы признать неудачу своей педагогики, расстаться с мыслью, что добрым, сочувственным словом, вниманием и любовью к детям можно победить самое глухое предубеждение, нужно немалое мужество. И Бел Кауфман обладает им. Она честно говорит, что не знает, что делать с этими детьми, со школой вообще. Она не скрывает своей растерянности. Ее отношение к ученикам сбивчиво, двойственно: она и понимает разумом, что они, пожалуй, не так уж виноваты, но и досадует на них, готова сорваться на крик, прогневаться, разобидеться.

Все это очень понятные человеческие реакции на скопище сорванцов, не желающих ничего слушать и вызывающе ведущих себя в классе. Но если учитель сердится — значит, он неправ. Есть, наверное, и другая, более высокая точка зрения на то, что происходит в американской школе, которая не сводится к педагогическому негодованию. Этого более широкого взгляда не хватает порой Бел Кауфман. Сама того не замечая, она находится во власти традиционных понятий о всемогуществе воспитания как автономной сферы жизни.

В самом деле, начиная с «Эмиля» Руссо и, наверное, еще раньше, педагогическая литература исходила из оптимистического взгляда на природу человека, которого можно научить, наставить, воспитать и даже переучить, перевоспитать, поскольку человеческая душа пластична, изменчива, и благородное знание впечатывается в нее, как в воск. Великая просветительная идея воспитания имела лишь одну очевидную слабость. Она брала простое соотношение воспитателя и воспитуемого как исчерпывающую модель подлунного мира. Учитель учит, ученик внимает ему и усваивает его уроки — такой путь, будь он принят повсеместно, казалось бы, неизбежно приведет к торжеству просвещенного человечества. Какая отрада думать, что достаточно с настойчивостью и упорством внушать молодому поколению некоторую сумму идей, чтобы оно стало другим, невзирая на охлаждающий опыт жизни.

Но в том-то и дело, что идея дидактического воспитания, внушена ли она благородным просветительством или казенным оптимизмом, в реальной жизни неизбежно подрывается сразу с двух концов — и со стороны «воспитателей», и со стороны тех, кого воспитывают. Взглянем хотя бы, какая картина вырисовывается из рассказа нашего автора.

Воспитатели, учителя государственных средних школ и в особенности случайные, «замещающие» учителя, которых 11 тысяч в одном Нью-Йорке, загнаны, измучены тяжким режимом дня, бюрократическими указаниями и шаблонными разработками, отчетами и характеристиками, всеми этими УХ, УКУ и ПУП, высмеянными в повести Бел Кауфман. У них не хватает времени и душевных сил для пополнения своих знаний, для какого-либо самостоятельного творчества, да и попросту для раздумья над следующим уроком. Сами того не замечая, они превращаются лишь в передатчиков испытанных шаблонов. Им важно отговорить свое от звонка до звонка, чтобы успеть за существующей программой, опросить учащихся и пробить компостером свою карточку: остальное их не слишком интересует.

Повсеместно распространен тот тип учителя, о котором еще два столетия назад с усмешкой говорил Дидро: учитель, который знает не больше того, чему собирается научить. А между тем — банальная, но неоспоримая истина, — лишь когда учитель знает много больше того, чему учит, когда он, как вдохновенный актер, играющий тысячу раз кряду, но по-разному, одну и ту же роль, как бы творит заново на своем уроке, когда он подходит к знакомому материалу с увлечением первооткрывателя, он может захватить школьников и научить их самому трудному делу: думать и чувствовать самостоятельно, но на уровне современной науки и нравственного сознания.

Однако для этого, если воспользоваться словами Маркса в его известных тезисах о Фейербахе, «воспитателя надо самого воспитать». Люди любят воспитывать других, даже когда не слишком точно знают, чему они могут научить. Это такая сладость — внушить другому пусть самые ничтожные, но свои понятия, огрызки знаний и скудных моральных норм. Чтобы воспитатель имел успех, он должен обладать для этого по меньшей мере нравственным правом и достаточным уровнем интеллектуальных ресурсов.

Но все это лишь одна сторона дела. «Воспитуемые», школяры, как еще раз убеждаешься из очерка Бел Кауфман, в свою очередь переживают острое недоверие к педагогике, которая хочет внушить им некие штампы общественного и научного знания в рамках школьной подцензуры. В наш век более чем когда-либо воспитывает не столько дидактика, сколько общественный опыт подростка, понятия, вдыхаемые вместе с воздухом за стенами школы или колледжа. Дети видят перед собой огромный, многолюдный, бушующий страстями мир, где так многое противоречит школьным урокам, где справедливость уступает насилию, а правду часто заглушает ложь. Дома, на улицах, в газетах, у телеприемников школьники получают жизненное знание, начальный социальный опыт, не учитываемый никакой дидактикой. «Акселерация», о которой так много говорят и пишут, имеет, по-видимому, не только биологический, но и социальный аспект, все раньше включая подростков в грубую практику жизни, знакомя их с нею через различные внешкольные каналы информации. Разве меньше, чем школа, влияют на впечатлительное сознание ребят разговоры, которые они слышат на улице, в автобусе и дома? И разве не воспитывают неприметно — и сильнее всякой дидактики — разговоры взрослых за обедом или ужином о растущих ценах, о деньгах, о расовой проблеме, о вьетнамской войне, да хотя бы и о своих соседях?

Неудачливый учитель, видя разрыв между догмами воспитания и суждениями, которые складываются у школьников внушениями жизни, пробует обойти эту трудность, узаконивая лицемерие: «Мне не важно, что ты чувствуешь, мне важно, как ты себя ведешь» или: «Мне не важно, что ты думаешь, мне важно, что ты напишешь в своем сочинении». Так дети понуждаются к изъятию гуманных или патриотических чувств, которых не испытали, и за это принуждение к фальши вдвойне начинают ненавидеть своих наставников.

Может быть, больше, чем другие педагоги, Бел Кауфман понимает теперь, что дело не в мастерстве изложения программы, а в том, что школьные уроки далеко разошлись с уроками жизни.

Русскому читателю приятно узнать, что искорки интереса внезапно зажигаются в глазах ее учеников, когда выясняется, что их учительница говорит по-русски. Но, увы, зажигаются и тут же гаснут.

Читая очерк Бел Кауфман, читатель невольно задумается не только о нынешнем состоянии американской школы, но и о моральном тоне всего общества. Положение школы может служить достаточно точным его индикатором и отражать к тому же его перспективы, поскольку речь идет о воспитании новых поколений сограждан. Отчего же стрелка этого барометра общественной погоды так резко качнулась в сторону?

Расовые конфликты, атмосфера конкуренции и вражды, политический терроризм, тяжелое моральное наследство неудач в неправой войне при звоне официального патриотизма — все это поселило в заметной части молодого населения Америки недоверие и презрение к поколению «отцов». Существовавшее из века уважение к старшим, к их опыту и пониманию жизни стало заметно падать. Возрасты стремительно сблизились. Одни из подростков стали слишком рано во всем походить на взрослых, другие — инстинктивно отстаивать свое детство, вплоть до отчаянной мольбы мальчишки наших дней: «Мама, я не хочу расти, не хочу быть большим».

Вместе с барьером возрастов рушатся и барьеры педагогики: слабеет авторитет учителей, если он не основан на их личном нравственном достоинстве. «Внешний мир привнесли внутрь школы», — огорчается Бел Кауфман. Но если мир взрослых делает то, что он делает, чего можно ждать от школьника?

В буйном поведении класса, с которым столкнулась Бел Кауфман и которого она испугалась, распушенность, грубость, жестокость — не что иное, как подражание жизни взрослых, желание опрокинуть прописи «воспитания». С другой же стороны — инстинктивный молодой протест против старших, когда хочется им насолить, раздосадовать, показать когти. «Юность — это возмездие» (Блок), и старшему поколению благомыслящих американцев не следует обращать свое негодование вовне: сами виноваты.

Бел Кауфман стоит в растерянности перед результатами своего опыта и не решается договорить до конца то, что неизбежно вытекает из него. Она — среди обломков старой педагогики, всемогущего фетиша автономного «воспитания». Порван ее контакт с учащимися, наладить его прежними средствами невозможно, и тогда остается одно: бесплодно негодовать на этих юных хулиганов, как всегда и поступают растерявшиеся Песталоцци.

Что делать? Как изменить американские школы? Кто-то из воспитанников Бел Кауфман отвечает: сжечь их. «Может, они правы», — меланхолически соглашается Бел Кауфман. Это уже настоящая капитуляция, позорная сдача, белый флаг над крепостью педагогики. Кризис идеи «воспитания» как автономного, внутришкольного дела кажется талантливому педагогу кризисом всей наследуемой культуры вообще.

Вряд ли, конечно, это выход — сжечь постылые казенные школы. Культура не возникает на голом месте, она всегда питается традицией, и здесь еще меньше, чем в других областях человеческой деятельности, подходит правило: чем хуже — тем лучше. Нет, чем хуже, тем хуже — и только. Хуже даже тогда, когда хуже, кажется, быть не может.

Только крайняя растерянность и разочарование могут привести к потаканию анархическому, леворадикальному разрушению культуры. Наивно ждать, что на выжженной, голой земле вырастет добрый плод. Даже в антагонистическом обществе культура не может быть сведена к казенщине и буржуазности; она всегда концентрирует в себе лучшее в человеческом опыте, в практике старших поколений, столетиями привередливо отбирает его крупинки, чтобы передать в готовом виде младшим, дабы им не пришлось заново проходить весь путь.

И вместо требования сжечь школы, которое выглядит возгласом отчаявшихся душ, надо бы подумать о том, какие социальные условия должны быть созданы, чтобы педагогика не чувствовала себя в конфликте с жизнью, чтобы идея воспитания не превращалась в прекраснодушную ложь, противную сознанию подростка, и чтобы между тем, что он слышит из уст учителя, сидя за партой, и тем, что видит, переводя глаза на огромный, бушующий за окнами мир, не было бы наглядной розни, смущающей и разъедающей душу.

В том, что Бел Кауфман подводит своего читателя к этим вопросам, значение ее бесстрашного педагогического опыта.

В. ЛАКШИН

